



ИВАН ШИШКИН: «ВО МНЕ ВСЁ РУССКОЕ...»

Шишкина называли царём леса. За то, что знал его как никто другой из русских художников, любил безмерно и замечательно передавал свои впечатления на холсте.

Ещё в юности пленили его могучие прикамские леса с синеющими просеками, с душистым запахом травы и хвои. Он надолго уходил из дома, взяв бумагу и карандаш? — изучал скульптуру сосновых стволов, стараясь, чтобы рисунок жил.

— Бездельем маешься, — упрекнул однажды сосед.

— Почему бездельем? — возразил Иван.

— Труженик горб гнёт, руками своими делает дело...

— А художник? Разве не гнёт горб, разве не руками пишет картины?

Он, наконец, сказал родителям:

— Я уезжаю.

— Куда, если не секрет? — спросил отец.

— В Москву. Учиться живописи.

Мать приняла известие со слезами: как это можно, из купеческого сословия да в художники! Вечно будет ходить в грязной рубахе, как те богомазы, что пишут сейчас иконы для нового храма. Но отец поддержал Ивана.

Иван распрощался с родными. Возок катился с пригорка на пригорок по широкой равнине, качались по сторонам от дороги спелые хлеба, и то ли брели, как вечные странники, то ли стояли дозорными богатырские сосны. Так и запомнился отчий край, дорогая сердцу Елабуга: соснами под чистым небом среди хлебов.

В Московском училище живописи Иван Шишкин серьёзно занялся изучением природы, много работал, и о его упорстве слагались легенды. Записал в дневнике: «Природа всегда нова ... и всегда готова делиться неистощимым запасом своих даров, что мы называем жизнь. Что может быть лучше природы?»



А жилось ему в ту пору трудно: безденежье было частым. Отец почти не помогал, его купеческие дела шли плохо. Но письма от отца приходили бодрые — талантливый он был человек и неутомимый. «Хочется восстановить башню в Елабуге, на Чёртовом городище. Там когда-то был город Гелон. Булгары построили. Войны были извечные, люди не могут без войн, хотя по крови все братья — от одного корня идут. Персидский царь Дарий неподалёку скифов разбил, зимовал в Гелоне, а весной, как только просохло, сжёг город дотла и ушёл. Силу свою показывал. Но разве же в этом сила? Построить город, вот где сила нужна. А разрушить — это ведь просто...»

Время шло. Рос в Иване Шишкине дар живописца. Всё чаще мечталось ему о Петербурге, об Академии художеств. Друзья отговаривали: питерские академики не благоволят москвичам. Но Иван был уверен в себе. Зимой 1856 года он отправился в путь. В Академии представил к экзаменам несколько рисунков и пейзажей, и сразу за один из них ему присудили Малую серебряную медаль — первую в его жизни награду. На вручение награды требовалось явиться во фраке и в белых перчатках. Шишкин отказался:

— Я рисую без перчаток. Отчего же награду за свою работу должен получать в перчатках да ещё белых? — И не пошёл на акт. Но это не испортило его отношений с Академией, хотя некоторым профессорам дерзость Шишкина не понравилась.

Работал Иван неутомимо, был самым сильным рисовальщиком среди пейзажистов. Брался ли за изображение леса или отдельного дерева, всё получало истинный вид, без малейших прикрас. Пейзажи Шишкина выставлялись в Москве и Петербурге, а за один из них он получил Большую золотую медаль и право на заграничную поездку.

— Зачем мне чужие страны? — отбивался он. — Во мне всё русское!

Однако Академия настаивала, и Шишкин обратился с просьбой в Совет: разрешить ему несколько месяцев провести в Елабуге, где не был два года. Просьба была удовлетворена.

И вот опять перед ним родные прикамские леса, раскинувшиеся на многие километры. А когда поднялся на высокий берег, с которого открывался вид на Елабугу, так разволновался и обрадовался, что не мог усидеть: соскочил с повозки и побежал по траве.

Он — дома! Его любят и окружают заботой — долгожданный сын!

Все дни он теперь пропадал в окрестностях Елабуги, рисовал. Сосны, сосны, сосны! Лесные богатые! Да он и сам богатый.

— Здравствуй, бабушка! — поздоровалась с ним однажды старушка в истёртом цилиндре.

Необычную эту женщину звали Надеждой Андреевной Дуровой, но она называла себя — Александров. Несколько месяцев от роду она выпала из окна кареты, гусары подняли окровавленного ребёнка и отдали подсакававшему отцу; с тех пор седло стало для неё колыбелью. Сорвиголовкой росла девочка! В юном возрасте вступила в казачий полк, присвоив себе мужское имя, став корнетом Александровым, дралась с наполеоновскими войсками, была ординарцем Кутузова; в отставку вышла в чине штабс-ротмистра и написала записки о своей полной приключений жизни.

— Что рисуешь? — спросила Дурова.

— Сосны, — улыбнулся Шишкин. — Порой хочется взять людей за руку и повести в леса, чтобы увидели, как хорош мир!

Надежда Андреевна посмотрела вокруг, затем перенесла взгляд на этуод:



— Вы оставляете потомкам незабвенный образ Родины! — сказала высокопарно, как говорили во времена её молодости. — Да, да! Любовь к ней и веру в её будущее!

Дурова ушла, не желая отвлекать художника. Глядя ей вслед, Шишкин подумал, что могучий дух земли русской не иссякнет, пока есть вот такие хрупкие женщины с душой, высеченной из кремня.

Поездку за границу он всё откладывал, работало дома хорошо. Рассуждал: «Для работ французу нужна Франция, русскому — Россия». Только весной следующего года выехал в Германию — дальше тянуть было некуда.

Как предполагал, так и вышло: разочарования на чужбине следовали одно за другим. Шишкин искал хоть что-нибудь дорогое сердцу, — напрасно. В картинных галереях видел он пейзажи холодные или слишком красивые, к тому же они были ему

известны по репродукциям. «Мы о загранице знаем всё, — с горечью думал он, — а заграница о нас почти ничего не знает. Почему? Чем наша жизнь, наша живопись хуже?»

Однажды, сидя в таверне за кружкой пива, заметил, как за соседним столиком компания подвыпивших немцев с насмешкой поглядывает на него и что-то мерзкое говорит о России. Шишкин кое-как уже умел изъясняться по-немецки, однако сделал вид, что разговор соседей его не касается. А те не унимались. Тогда он подошёл к их столику и ткнул себя пальцем в грудь: «Я русский. Их бин руссиш. Уразумели? Прошу прекратить!» Ответом был хохот и оскорбления. Иван молча взял одного из насмешников за ворот и поставил перед собой: «Ты что, не понял? Я русский!» Остальные, опрокидывая стулья, бросились выручать своего приятеля.

Иван прошёлся медведем, расчищая себе дорогу к выходу. Оказавшись на улице, он дал волю кулакам и по нечаянности зацепил совсем некстати подвернувшегося полицейского. На другой день Шишкина вызвали в участок. Явились пострадавшие. С опаской проходя мимо Шишкина, отводили глаза. «Ого! — подумал он. — Их, оказывается, было семеро!» Полицейский начальник тоже был удивлён, спросил недоверчиво: «Вас было семеро? А он один?» И расхохотался. Шишкина оштрафовали на 50 гульденов. «Это не за них, — указал начальник на пострадавших, — это за нашего полицейского. Надо знать, господин Шишкин, кого бить...»

Едва дождавшись весны, Иван Иванович уехал в Швейцарию. Но и там ловил себя на мысли, что, находясь среди неопикуемой красоты, он всё время ищет что-нибудь схожее с тем, что дорого и близко ему, — то солнечные сосны, то заросшие подорожником лесные ложбины. Бросив всё, он до срока вернулся в Россию. «О, Боже мой, я дома!» — радостно восклицал.

Иван Иванович начал много путешествовать, словно навёрстывая годы, прожитые за границей, много писал и выставлял свои произведения сначала в Академии художеств, а после того как учредилось Товарищество передвижных художественных выставок, — на выставках передвижников. Его картина «Сосновый бор», оконченная в 1872 году, стала неоспоримым шедевром: всю нежность, всё переполненное чувством сердце своё вложил он в этот тончайший пейзаж — песню сыновней любви к своей отчизне.



В семидесятые годы Шишкин близко сошёлся с Иваном Николаевичем Крамским — художником, особенно благотворно влиявшим на его творчество. С ним он делился замыслами будущих картин и рассказал, как однажды в Москве увидел выставку Айвазовского. «Если море так хорошо на картинах, разве нельзя столь же превосходно представить и остальную природу?» — задумался он тогда. С тех пор зрела, ждала своего часа мысль о чем-то значительном, счастливом. Он чувствовал эту мысль, хотя ещё не знал, не мог себе представить, в чём она выразится конкретно. Делился в письмах к отцу: «Какая тайна и радость заключаются в окружающей нас природе! Сможет ли когда-нибудь человек всё до конца понять или это немисливо, невозможно? Всё думаю, думаю, как это перенести на холст? Да сумею ли?»

«Сумеешь», — отец не сомневался в сыне. Сам он дописывал «Историю города Елабуги», и этим светом озарена была его жизнь. Ухлопав свои небольшие средства на восстановление древней башни на Чёртовом городище, он из третьей купеческой гильдии перешёл в мещанство. Но разве в деньгах счастье? Счастье — в самой жизни.

«Верь в себя, Иван, — писал он сыну, — ты ещё такое сотворишь, что ахнем все!»

Но отец не дожил до того лета, когда приехал Иван Иванович в родную Елабугу уже маститым художником, у полотен которого, как и у полотен Айвазовского, часами стояли люди в задумчивости и удивлении: как же простыми красками можно передать столько?

Стояла отрадная пора сенокоса. Шумные, июльские дожди стремительно проносились над лесами и пашнями, коромысло радуги одним концом падало в Каму, другим — в Тойму, и всё вокруг звенело, сверкало, полнясь бодрящей свежестью. Шишкин любил солнце и день. Он много ходил и всё чего-то искал, искал... высматривал и почти ничего не писал.

Но вот он набрёл на ржаное поле и поразился его величю и размаху! Под тяжестью крупных колосьев стебли слегка наклонились, и тихий, чуть слышный, звон

плыл над полем в горячем воздухе. И откуда-то издалека, то ли из прошлого, то ли из будущего, брели навстречу могучие, состарившиеся в пути сосны. Шишкин сел прямо на траву, обхватил руками колени, и замер.

Созревшие колосья шелестели у самого уха. Низко над полем, чиркая крыльями по ржи, носились ласточки. Горизонт был затянут предгрозовой морочью, но до грозы было ещё далеко. И так волнующе-спокойно было вокруг!.. Мир словно распахнулся перед Шишкиным. То, что долгие годы теплилось в душе смутным, неясным ожиданием, предчувствием чего-то большого и прекрасного — отчётливо возникло и предстало перед глазами.

Иван Иванович поднялся и, как пьяный, побрёл вдоль поля, трогая руками колосья. В тот же день, не переводя духа, написал один за другим несколько этюдов.

— Нашёл! — восклицал он. — Нашёл, наконец!

Все последующие дни он писал и писал. Рыжая колея дороги, вильнувшая и скрывшаяся во ржи, сосна, словно подпирающая небо своей зелёной верхушкой... Работал без усталости, жадно, с удовольствием. Лишь к вечеру начинал чувствовать, как деревенеет спина и немеют пальцы рук.

Лето кончилось. Иван Иванович вернулся в Петербург. Картина, в сущности, была начата, она жила в многочисленных этюдах, в мыслях и сердце художника. Он видел её, знал, чего хочет, работал с подъёмом и написал в короткий срок. Всю зиму с Финского залива дули сырые промозглые ветры, а у Шишкина, в его мастерской, стояло лето, и воздух был пропитан предгрозовой свежестью, запахом спелой ржи.

— Батюшки! — был ошеломлён Крамской, войдя к Ивану Ивановичу и увидев завершенную картину. Поле спелой ржи размахнулось во всю её двухметровую ширь; бескрайнее, оно выходило за рамки картины и не было ему конца. — Что же вы натворили, Иван Иванович! Ах, какое богатство!

Шишкинская «Рожь» стала гвоздём Шестой выставки художников-передвижников. Картина поражала своим композиционным размахом, и все удивлялись — как, в сущности, на небольшой площади художник смог развернуть такое огромное, поч-



ти необозримое пространство? Никто не мог сказать, откуда простота и волнующая, проникновенная поэзия? В мягкой ли, чистой зелени, обрамляющей поле, в дороге ли, уходящей в глубину этого поля, в высоком ли небе или той непередаваемой любви художника к родной земле, из которой и явилось это чудо.

Указывая на полотно Шишкина, Иван Николаевич Крамской наставлял молодых живописцев:

— Чувствуйте, ради Бога, чувствуйте, а не притворяйтесь! Пойте как птицы небесные, своими голосами! И ничего не бойтесь, никаких терний в пути, ибо к истине есть только один путь — откровение.

В произведениях Шишкина всё было восхищением перед русской природой. «Какое же это счастье, какая радость — жить, ходить по родной земле, дышать на ней полной грудью!» — думал он за работой. И всегда в его творчестве имелось то художественное нечто, что сообщало его искусству цельность, значительность и убедительность.

Однажды к нему в мастерскую пришёл художник Савицкий, хитро посмеиваясь:

— Хотите, я интересный замысел подарю?

— С чего же такая щедрость? — удивился Шишкин. — Не принято у художников раскидывать замыслами.

— Да понимаете, там фоном должен быть лес, а его я писать не мастер.

— И что? — заинтересовался Шишкин.

Савицкий изложил идею.

— Ах, и хорошо! — поразился Иван Иванович. — Ну что ты скажешь! Надо готовить холст.

Все последующие дни Шишкин находился под впечатлением разговора с Савицким, кажется, ни на минуту о нём не забывая. Делал рисунки, холст натянул на подрамник, установив чуть наклонно. Маленькая дочь, заметив возбуждение отца, забегала в мастерскую, спрашивала:

— Папенька, ты что задумал?

— А вот представь себе: вечер, потрескивают дрова в камине, а ты сидишь у меня на коленях, и мы вместе слушаем сказку.

Потом в мастерской наступила тишина — это Иван Иванович в своей старой блузе, широко расставив ноги, стоял у холста и шлёпал по нему кистью, добываясь нужного тона.

Пришёл Савицкий, поинтересовался:

— Мажешь?

— Мажу, Константин Аполлонович.

— В четыре руки сегодня поработаем.

Савицкий писал медведей, Шишкин — утренний бор; казалось, в красно-коричневых соснах текут, пульсируя, соки, — настолько живы они были.

— Россия — страна пейзажа, — говорил за работой Шишкин. — Нигде нет таких лесов, такого раздолья, тайн и возможностей.

— Неужели вас не угнетает уединение в лесу? — недоумевал Савицкий.

— Общение с природой не может угнетать. Перед тобой открывается целый мир. Вот медведи-то ваши, баловни, не устанешь любоваться...

Шишкин вспомнил соседа в Елабуге, который однажды сказал ему: «Труженик горб гнёт, а ты бездельем маешься!» Тогда Иван Иванович даже не предполагал, какой это труд, быть художником. Упорный, повседневный. И никаких скидок, поблажек самому себе, никакого деления на «главное, основное, второстепенное» — в искусстве всё главное.



За последующим написанием картины художники переговори́ли о многом.

— Очень важно чувствовать отчий край, — соглашался Константин Аполлонович. — Что были бы Пушкин и Гоголь без этого чувства? Живёшь в России и говори от имени России.

— Надо ещё заслужить это право, — заметил Шишкин.

Когда картина была окончена, Савицкий наотрез отказался ставить на ней свою подпись:

— Что вы, Иван Иванович! Мои медведи только подмалёвок. Разве это сравнимо с вашим вкладом? Подпись должна быть только ваша.

И всё же в Москву на выставку картина отправилась за двумя подписями.

Константин Аполлонович сердился:

— Убили мы медведей и шкуру поделили! — и стёр с холста свою фамилию.

Судьба «Утра в сосновом лесу» оказалась легендарной. Нет в России уголка, где бы не знали и не любили эту картину. Люди не устают слушать лесную сказку, которая для каждого звучит по-разному. Поколение за поколением пытается разгадать тайну этого шедевра, но... это навсегда секрет.

В последние годы Шишкину было одиноко. Старшая дочь Лида вышла замуж и уехала в Финляндию, став хозяйкой усадьбы Мери-Хови где-то среди холодных неприютных скал на берегу залива. Звала отца погостить, подзадоривала: «Природа здесь неброская, но удивительно своеобразная, — так и просится на холст». Но собрался Иван Иванович далеко не сразу.

Когда приехал, его встретили радушно. Он отдыхал в Мери-Хови и работал почти с удовольствием. Написал несколько зимних этюдов, чистых, светлых по колориту. Но всё что-то силился вспомнить, когда вечерами читал стихотворение Лермонтова:

*На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горючем
Прекрасная пальма растёт.*

Шёл к столу и тихо переключал с места на место рисунки. И вспомнил! Остров Валаам. Там, на высоком каменном холме стояла сосна. Она была не очень высокая, с кривым толстым стволом, но столько в ней было внутренней красоты и силы, так мощно стояла она на скале, что пройти мимо ни за что было нельзя. Он написал с неё этюд. «Где этот этюд? Надо поискать в мастерской в Петербурге...»

Иван Иванович загорелся новой картиной и поспешил домой, чтобы скорее взяться за работу. А в Петербурге ждали его друзья, у них накопились новости, которыми они хотели поделиться с ним. Однако их рассказы мало увлекали художника, он был во власти своей новой картины «На севере диком». Она едва ли ни демонически захватила его. Писал быстро, и, казалось, легко, но всё это только внешняя сторона, главное было в душе художника. В одинокой сосне на горючем утёсе он видел себя. Душа наполнялась обидой на несправедливость жизни, рано отнявшей старшего брата, двух сыновей, Женечку — мать Лиды, и Ольгу Антоновну — мать младшей дочери Ксении. Так холодно, так неудобно было дома! И всё доносилась до Ивана Ивановича какая-то песня без светлого начала и радостного конца.



Окончив картину, Шишкин показал её друзьям, удивив необычностью избранной темы и даже каким-то не «шишкинским» решением — картина была написана в холодных тонах. Архип Иванович Куинджи долго смотрел на неё, прищурился острыми глазами, качая головой: ну и ну! Нет, в самом деле, вышло что-то не «шишкинское». По его мнению, чего-то не хватало в картине. Он все присматривался так и этак. Да, чего-то не хватает. Во всех полотнах Шишкина было жизнелюбие, а здесь как будто всё умерло. Куинджи схватил кисточку, и Шишкин не успел рта раскрыть, как он ткнул ею в холст между ветвями сосны, обозначив жёлтым кадмием крохотный огонёк в студёных застывших далах.

— Вот! — кисть замерла над холстом, и Шишкин испуганно её отстранил. Но огонёк, сделанный Архипом Ивановичем, убрать рука не поднялась — он был как надежда среди безысходности.



Как ни странно, но именно этот огонёк вывел Шишкина из угрюмого состояния, в котором он находился очень давно. Жизнь продолжается, какую бы она не была, надо жить, надо, чтобы вокруг тебя было светло, ведь только светом ты и можешь отблагодарить Всевышнего за своё пребывание на земле.

Следующая картина — «Корабельная роща», самая крупная по размерам, завершила творчество Шишкина. Художник отчётливо слышал пульс времени. Возобладовавшая в русском обществе «теория отрицания», выбивавшая людей из жизни, вызывала в нём гнев! Иван Иванович, и как человек, и как художник, не мог согласиться с этой теорией. В ней не было места «ни вере, ни правде, ни энергии воли». Не мог, потому что, в отличие от многих своих современников, не испытывал разлада между мыслью и духом. Тем и спасался.

Ещё молодым человеком, живя за границей, Шишкин почувствовал нечто тревожное над Россией, но в чём оно заключалось, и сам не знал. «А будущее не веселит, и сильно не веселит», — писал он на родину. И теперь это его предчувствие оказалось пророческим: в России, вставшей на капиталистические рельсы, началось беспощадное истребление природных ресурсов. «Разве не варварство, — возмущался Крамской, — желание поскорей добыть себе блага путём мошенничества, прокучивания общественного богатства, лесов, земли за целые будущие поколения?!»

Иван Иванович относился к природе с религиозным благоговением. «Здравствуйте! — ежегодно весной здоровался он с деревьями, как с родными людьми. — Вот и снова мы вместе!» Он понимал, что природа и человек в неразрывной связи между собой. Выруби лес — погибнут звери и птицы, пересохнут ручьи и болота, обмелеют реки, резко изменится климат и потеряется в людях то равновесие, которое есть лишь тогда, когда человек находится в мире с Богом и самим собой.

В его «Корабельной роще» могучие сосны тянутся ввысь, как колонны Божьего храма. Блики солнца играют в тёплых водах ручья, на камнях, на стволах. А плетень — предупреждение тем, кто варварски истребляет природу: не двигаться дальше!

Осуществление такого монументального замысла говорило о том, что художник в полном расцвете творческих сил. Однако двадцатого марта 1898 года, встав за мольберт, он покачнулся, и палитра упала на пол...

Литература для чтения:

1. Кудинов И. «Сосны, освещённые солнцем». Барнаул, 1981 г., Алтайское книжное издательство.
2. Минченков Я. «Воспоминания о передвижниках». — Ленинград, 1963 г. «Художник РСФСР».
3. Бенуа А. История русской живописи в XIX веке, СПб., товарищество «Знание», 1902 г.
4. Володарский В. По залам Третьяковской галереи. М., 1975 г. «Изобразительное искусство».
5. ГТГ. Каталог собрания. «Живопись второй половины 19 века». Т. 4, — М., 2006
6. Прытков В. Любимые русские художники. М., 1963г, АХ СССР

